

# **ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ**

С.В. Савинков

## **НАРРАТИВНЫЕ КОЛЛИЗИИ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ: ДВА СЮЖЕТА**

В статье рассматриваются коллизии, сопряженные с двумя знаковыми для пушкинской эпохи нарративными установками: выражать то, что чувствуешь, и говорить то, что думаешь. Практическое осуществление этих императивов, наталкиваясь на преграды и в жизни, и в литературе, создавало оттеняющие своеобразие этой эпохи сюжеты.

**Ключевые слова:** пушкинская эпоха; жизнь и поэзия; риторика и живое чувство; речь прямая и речь лукавая; истина; долг; любовь.

### **I**

#### **Слово и чувство**

В архиве Н.М. Языкова (прежде всего в письмах дерптского периода (1822–1829 гг.) представлена в том числе и та сфера жизни, которая а priori считается первым и главным источником вдохновения для любого поэта, – сфера чувств, любовных переживаний. При этом, однако, не составляет особого труда заметить, что отношения между чувствами и стихами у Языкова складываются отнюдь не прямо и отнюдь не просто. Напротив, они явно проблематичны, и это несмотря на исходную установку выражать в стихах только то, что чувствуешь. «Жуковский, – писал Языков своему брату Александ-

ру, – советовал мне никогда не описывать того, чего не чувствую или не чувствовал: он почитает это главным недостатком новейших наших поэтов ... уверяю тебя, что не изменю предыдущему замечанию Жуковского». Сам же Языков подобного рода сочинения (в которых описывается то, что не чувствуется) называл «беглою поэзиею»: «в них все чужое – слова, выражения и мысли»<sup>1</sup>.

А между тем, такой способ выражения в эпохи риторические (оформляющие чувства в некие готовые, ритуализованные формулы и стилистические штампы) представляется «узаконенным» и едва ли не единственно возможным. Романтизм, как известно, внедрил и «узаконил» свою риторику чувствований, которая в силу своей условности вскоре перестала восприниматься как нечто истинное. К примеру, «Ответ на вызов написать стихи» Дениса Давыдова – реакция на такую поэтическую искусственность:

Неужель любить не можно,  
Чтоб стихами не писать?  
И, любя, ужели должно  
Чувства в рифмы оковать?  
По кадансу кто вздыхает,  
Кто любовь в цветущий век  
Лишь на стопы размеряет,  
Тот прежалкий человек!<sup>2</sup>

В то же время брат поэта, Александр Михайлович, наблюдая за поэтическими опытами дерптского студента, предлагает ему попробовать стихотворствовать о любви. Его взгляды на этот «предмет» противоположны давыдовским: для того, чтобы писать о любви, вовсе не обязательно любить. «...Я хорошо делал, – отвечает ему Языков, – что не следовал твоему предложению

сихотворствовать о любви. Впрочем, может быть, скоро буду писать стихи, вдохновенные этой поэзией жизни»<sup>3</sup>; «Ты удивляешься, почему Дерптские красавицы не возбудили во мне ни одной страстной пьесы? Итак, вот тебе новое доказательство свободы моего сердца: ежели влюблюсь, то, вероятно, это будет иметь влияние на мои стихи: но пока еще не испытал ни наслаждений, ни печалей любовных, то не хочу притворяться любовником: ибо притворство было бы слишком явно, а это особенно в стихах худо, несносно – не так ли?»<sup>4</sup>.

Однако следовать этой программе для Языкова оказалось делом далеко не простым. На это было несколько причин.

Языков очень рано уверился в том, что он избранный Божий, Поэт, которому предписано судьбой «блистать на поприще Парнасских состязаний»<sup>5</sup>: «Я скорее брошу в жизни все, что можно бросить, чем стихи... И неужели славолубие, благороднейшая из страстей человеческих, не должно занимать надежду того, кто уже чувствует, что может быть достойным славы?»<sup>6</sup>. Однако юноше-поэту суждено *тревожить слабые сердца и собирать нищенские длани* до тех пор, «Пока в душе его желанья / Мелькают, темные, как сон, / И **твердый глас самосознанья** / Не возвестил ему, **кто он**»<sup>7</sup>. Но для того чтобы возвестить, *гласу* требуются определенные подготовительные условия. «Мне надо, – пишет Языков своим обоим братьям, – теперь непременно иметь перед глазами что-нибудь божественное, чтобы не писать общих мест, а его нет...»<sup>8</sup>. А когда *его нет* – нет и истинной поэзии. Отсутствие *возвышенного предмета* ввергает Языкова в уныние, которое он стихотворно изливает в жалобах на свое безрадостное *настоящее*.

Не то, не то в душе моей,  
Что восхитительно и мило,

Что сердце юноше сулило  
Для головы и для очей:  
Болезнь встревоженного духа  
Мне дум высоких не дает,  
И, как сибирская пищуха,  
Моя поэзия поет<sup>9</sup>.

Но вот, казалось, вопрос о «возвышенном предмете» готов был разрешиться. На роль «звезды любви и вдохновений» Языковым была выбрана Александра Андреевна Воейкова, можно сказать, еще до ее приезда в Дерпт. «Она, – сообщает он брату, – скоро сюда будет, я опишу ее тебе с ног до головы; говорят, что всякий, кто ее видел хоть раз вблизи, непременно в нее влюбляется. Ежели надо мной исполнится это прорицание, то ты увидишь такую перемену моего духа только из слога моих писем, а не иначе: смотри же, смотри в оба»<sup>10</sup>. Когда же Воейкова, наконец, появилась, то превзошла все его ожидания: «...это такая женщина, какой я до Дерпта не видывал; прекрасно образована, а лицо – какого должно искать с фонарем между потомками ребра адамова»<sup>11</sup>. В дальнейшем Языков сообщает о своей *весьма сильной дружбе* с Воейковой, а в феврале 1824 года прямо говорит о большом влиянии этой женщины на него.

В последующих письмах этого года он называет Воейкову «божественной» и «возвышенной», но с 1825 года его отношения к *звезде* резко меняются, и это в самом деле отражается на слоге его писем, который становится и грубоватым, и даже местами циничным. Вот его образцы: «Я бы с удовольствием исполнил твое предложение в рассуждении Воейковой, но видишь ли, друг мой, в чем дело: я ее никогда наедине не видывал, она как-то *высоко себя несет*; показывает, что не понимает моих изустных и печатных комплиментов. А для вручения письма нужно иметь хотя малейшую надежду,

что она, как говорят наши студенты, даст сатисфакцию или, проще, даст. Впрочем, я что-нибудь предприиму по сей части и буду сообщать тебе записки о моих приступах»<sup>12</sup>. «Ну, брат, видно мне не вкусить от Воейковой плода запрещенного: она на следующей неделе отсюда уедет, а до сих пор я ничего решительно не сделал, даже не притворился влюбленным и рассеянным (последнее легче). Впрочем, в этот раз она не очень сильно на меня подействовала; прежде я как-то более принадлежал или хотел принадлежать ей, ныне все шло без особенностей; она не произвела ни одного стиха, ни одной любовной мысли моей Музе»<sup>13</sup>.

Последнее замечание Языкова может прояснить, чем же вызвана такая в нем перемена к Воейковой. Вспомним его установку – «не описывать того, чего не чувствуешь». В одном из писем к сестре Языков пытается ей объяснить, как искреннему выражению чувств между людьми близкими мешает неверная форма обращения: «Вы: это слово годится только между людьми, не знающими друг друга которые, чтоб не обидеть одно лицо, их слушающее, хотят увеличить его, так сказать, и употребляют из осторожности число множественное. Вы это как-то слишком модно, слишком вежливо, некстати, неприятно, странно между, например, тобою и мною, где не должно быть комплиментов и принужденности, где должно писаться только то, что чувствуется, просто и открыто, следственно – без увеличения как предметов письма, так и лица, к которому оно адресуется... мысли делаются принужденнее, слова длиннее (это ясно; ты – вид очень простой, а Вы что-то крючковатое), выражения чопорнее и все вообще как-то вяло и не в надлежащем виде»<sup>14</sup>.

Так вот, для того чтобы описывать то, что чувствуешь («просто и открыто», «без увеличения... предметов письма... и лица», без чопорности и принужденности) форма отношений должна основываться на «Ты». Но этому мешали два обстоятельства. Одно связано с самой А.А. Воейковой, другое – с

романтическим представлением о Поэте как о певце возвышенного. Воейкова как реальная женщина в отношениях с Языковым держала такую дистанцию, которая не допускала ни малейшей возможности для перехода с *Вы* на *Ты*. Это с одной стороны. А с другой, она же в качестве «божественного предмета» требовала соответствующего его статусу поэтического языка, как раз и предполагающего «увеличения как предметов письма, так и лица». Иначе говоря, Жизнь и Поэзия, каждая по-своему, диктовали Языкову свою волю и демонстрировали свое упорное нежелание сочетаться брачными узами, быть, согласно программной установке Жуковского, одним целым. Жизнь в лице Воейковой отказывала представителю Поэзии в отношениях с ней на *Ты*. И в том же отказывала Жизни требовавшая возвышенного предмета Поэзия. Первое не давало Языкову желаемой близости к Воейковой, а второе – выражаться просто и открыто.

Здесь прямо-таки напрашивается сравнение с пушкинским «Ты и вы»:

Пустое *вы* сердечным *ты*  
Она обмолвись заменила,  
И все счастливые мечты  
В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою;  
Свести очей с нее нет силы;  
И говорю ей: как *вы* милы!  
И мыслю: как тебя люблю!<sup>15</sup>

То, что у Пушкина происходит легко и непринужденно, у Языкова превращается в неразрешимую проблему. Ему, как Пушкину, не удастся, говоря

*Вы*, мыслить *Ты*, поднять жизнь до поэзии и одновременно опустить поэзию до жизни.

В том же, что жизнь и поэзия не соединяются, виноват, как кажется Языкову, не он – виновата Воейкова, которая почему-то не захотела исполнять роль *генератора* его поэтических вдохновений. Досада на это обстоятельство становится лейтмотивом языковских и писем, и стихотворений этого периода: Воейкова «имеет полное право называться пробудительницей, звездю моего таланта поэтического, ежели он у меня есть»<sup>16</sup>; «Мне на нее даже досадно: она могла из меня все сделать, могла заставить меня произвести что-нибудь поэтическое – и не умела или не хотела, окаянная!»<sup>17</sup>.

«Жаль, что здесь нет, например, Воейковой: тогда бы я мог даже на заказ написать что-нибудь дельное. Впрочем согласись сам, что желание ее присутствия вовсе не делает чести существу моему; это похоже на питье водки для возбуждение голода неестественного...»<sup>18</sup>.

Языкову как будто неведомо, что чувства могут быть разными и что все они могут быть достойными поэтического выражения. Что можно просто и ясно выразить, например, свои переживания по поводу холодности Воейковой, по поводу отсутствия взаимности и что для произведения поэтического вовсе не обязательно иметь перед глазами божественный предмет: «...мне не в диковинку писать для прекрасного пола; здесь я писал, например, для Воейковой, и тогда мои стихи были живы и сильны... Стихи льются, когда пишешь для понимающей прекрасной особы; я тоже пишу и для других красавиц, но они редко меня понимают или совсем меня не понимают и всегда хвалят, между тем как я чувствую, что они не чувствуют – и тогда я не трубадур, а труба дур!»<sup>19</sup>. Тем не менее, в отсутствии Воейковой Языков ищет ей замену, ему постоянно нужен тот объект, на который могли бы быть направлены его поэтические излияния: «Что касается до меня по части сердечных чувствава-

ний, то вот что я сам в себе заметил: в то время, когда здесь нет Воейковой, я охотно посещаю Дирину, пишу даже ей стихи и вообще чувствую что-то ни на что не похожее...»<sup>20</sup>; «У меня с Воейковой теперь как-то все расстроилось, все кончается, и я снова обращаюсь к Дириной: напишу для нее несколько стихотворений и буду изъяснять в них свои центробежные чувства в рассуждении моей важнейшей прельстительницы»<sup>21</sup>.

Языкову так и приходится балансировать между двумя взаимоисключающими «не могу»: между «**не могу** писать, потому что не чувствую» и «**не могу** выразить то, что чувствую, ибо не всякое чувство годится для того, чтобы быть поэтически выраженным».

Следует сказать, что балансировка между двумя недостаточностями (недостаточностью жизни по отношению к поэзии и недостаточностью поэзии по отношению к жизни) – черта, присущая не только Языкову.

Когда Д.В. Давыдов, говоря о пафосе войны, возвышает ее до поэзии, он хочет сказать о неподлинности поэзии стихотворной. Но при этом, как давно отмечено, его лирический герой и его поэтическая биография носят очевидные идеализированные черты. Герой его поэзии – лихой рубака-гусар – это, конечно, не сам Денис Васильевич Давыдов, немало комплексовавший по поводу своей некрасивости и нескладности. То же самое можно сказать о другой паре: о разбитном и своевольном студенте и о мало на него походящем его создателе, Н.М. Языкове. И в том, и в другом случае недостаточность правды жизни перекрывается поэтической идеализацией реального «Я», а недостаточность поэзии – тем, что это «Я» наделяется исполненным жизненной энергией и силы *действием*. В той точке, где эти «недостаточности» жизни и поэзии пересекаются, по всей видимости, и рождается лирический герой пушкинской поры, который не пишет о любви, а любит, воюет не



на словах, а на деле, представляется не поэтом, а давыдовским казаком или рылеевским гражданином.

\* \* \*

Установка выражать то, что чувствуешь, которой Языков собирался следовать, оказалась для него невыполнимой именно потому, что он так и не смог разобраться в различии между чувствами живыми и риторикой, которую требуют для своего выражения чувства поэтические. Поэтому не случайно, что к одному из самых известных любовных посланий к А.А. Воейковой, Языков в одном из писем к брату даст комментарий, как будто бы свидетельствующий о том, что поэтическая установка «описывать только то, что чувствуешь» так и осталась для него неосуществленной:

«Вот стихи, которые еще не вошли, по времени, в этот сборник: К А.А. Воейковой (судьба их зависит от заглавия).

Забуду ль вас когда-нибудь  
Я, вами созданный? Не вы ли  
Мне песни первые внушили,  
Мне светлый указали путь,  
И сердце биться научили? (сильный комплимент!)  
.....  
Но где ж они,  
Мои пленительные дни,  
Восторгов пламенная сила,  
И жажда славного труда?  
Исчезло все. Меня забыла  
Моя высокая звезда.  
Взываю к вам: без вдохновений  
Мне скучно в поле бытия;  
Пускай пробудится мой Гений,

Пускай почувствую, кто я!

Сделай милость, не толкуй в любовную сторону причины этих стихов: здесь одна комплиментика – следствие недостатка времени, духа и обстоятельств для произведения чего-нибудь достойнейшего моей Музы, игрушка ума или кимвал бряцаний!»<sup>22</sup>

Тем не менее, вынося эту свою жизненную и творческую проблему в свои стихи, а значит, придавая им живое звучание, Н.М. Языков практически и разрешал то противоречие между жизнью и поэзией, с которым он никак не мог справиться умозрительно.

## II

### Слово и истина

В VIII главе «Капитанской дочки» разбойник и самозванец Пугачев предлагает природному дворянину Гриневу признать его за царя и служить ему как царю. Гринева Пугачеву отказывает, Пугачев же, вопреки здравому разбойничьему смыслу, в ответ Гринева не губит, а становится его помощником и спасителем.

«Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – “Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай **прямо**”... Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминую эту минуту) **чувство долга** восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: Слушай; скажу тебе всю **правду**. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленый: ты сам увидел бы, что я **лукавствую**... Пугачев взглянул на меня быстро. “Так ты не веришь”, – сказал он, – “чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А

разве нет удачи удалому? ... Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?”

– Нет, – отвечал я с **твердостью**. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу...

Пугачев задумался. “А коли отпущу” – сказал он – “так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?”

– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего... **Голова моя в твоей власти**: отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебя судья; а я сказал тебе **правду**».

Как видно, исход этого разговора целиком и полностью поставлен в зависимость от того, что для каждого из его участников окажется приоритетным – прямота или лукавство. На счастье Гринева его прямой отказ Пугачеву оказался предпочтительнее лицемерного и лукавого согласия. «Моя искренность поразила Пугачева. “Так и быть” – сказал он, ударя меня по плечу. – “Казнить так **казнить**, **миловать** так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь...”»<sup>23</sup>.

При этом следует заметить, что такое открытое поведение дворянина перед лицом самозванца, как его представляет Пушкин, вряд ли в Екатерининскую эпоху посчиталось бы уместным. Так, к примеру, в знаменитой трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» акценты расставляются принципиально иначе. В отличие от Петра Гринева сумароковский князь Шуйский убежден в необходимости всячески скрывать от злодея истину.

Когда имеем мы с **тираном** сильным дело,  
Противоречити ему не можем смело.  
Обман усилился на трон его венчать;

Так истина должна до времени молчать...<sup>24</sup>

Этому же он учит и жениха своей дочери, Георгия, в поведении которого, с точки зрения искушенного сановника, еще проглядывают «несмысленность и неискусна младость». После внушений Шуйского Георгий подчиняется требованию «вынужденного притворства» и осаждает свое первое желание открыто выступить против тирана, пусть и погибнуть, но не отдать ему своей невесты:

Язык мой должен я притворству покорить,  
Иное чувствовать, иное говорить  
**И быти мерзостным лукавцам я подобен.**  
**Вот поступь, если царь неправеден и злобен**<sup>25</sup>.

Главный аргумент в пользу того, что дворянину именно так должно обращаться с истиной перед лицом самозванца, состоит у Сумарокова в следующем: подменный, неистинный царь никогда не в состоянии признать власть истины (власть – согласно воззрениям просвещенного века – всеобщего естественного закона над собой: «Перед царем должна быть истина бессловна; Не истина – царь, – я; закон – монарша власть, А предписание закона – царска страсть»). Из этого и следует, что бесполезно говорить об истине тому, кто считает ее бессловесной<sup>26</sup>.

В трагедии Сумарокова самозванец, следуя своему желанию, строит любовные планы относительно дочери князя Шуйского Ксении. Но Ксения любит Георгия, и эта любовь скреплена естественным законом, «короне непричастном». Страсть Дмитрия этот закон попирает. Георгий делает попытку, хотя и безуспешную, отстаивать данное ему естественным законом право:

Но досаждаю ли предлогом сим царю,  
Когда я истину и в страсти говорю?  
Я знаю то, что я во всем царю подвластен,  
Но жар моей любви короне непричастен.  
Мое ль то, что закон естественный дает?<sup>27</sup>

Примечательно, что страсть может быть и враждебна истине, и тем, в чем истина нуждается. В одном случае (тогда, когда страсть – «предписание закона») она, ослепляя разум, попирает истину учреждаемым ею своеволием, в другом – уничтожает все препоны, мешающие ее обнаружению. Истина как голос Природы обнаруживается в том, что говорится со страстью, прямо, истово, «в жару и в огне души», а главное, несмотря на грозящую опасность или вопреки грозящей опасности.

Так именно это и выглядит у Пушкина. Его Гринев, в отличие от сумароковского Георгия, свой язык *притворству не покоряет* и говорит открыто, а его Пугачев, в отличие от сумароковского Дмитрия, за эту открытость не карает, а милует. И если страстное своеволие сумароковского Самозванца есть самое верное свидетельство его царской несостоятельности, то своеволие Пугачева перед лицом неизбежной гибели (им прямо осознаваемой) свидетельствует о какой-то его высшей истинности.

\*\*\*

В этой же VIII главе есть «банная» сцена, где Пугачев демонстрирует знаки, должны стать убедительным «доказательством» его царского происхождения. Однако если судить о царском статусе не по знакам, а, как полагает бескомпромиссный герой сумароковской трагедии, – по достоинству<sup>28</sup>, то Пугачев им будет наделен действительно, и именно тогда, когда поведет с

Гриневым разговор, который Марина Цветаева назвала «поединком великодуший» и «соревнованием в величии»<sup>29</sup>. В этом «соревновании» каждый возвышается над собой, и каждый способствует возвышению другого. Что касается Гринева, то он способствует такому возвышению уже тем, что ведет себя с соперником не так, как, согласно сумароковскому князю Шуйскому, должно дворянину вести себя с самозванцем, а так, как должно дворянину вести себя с царем – прямо и открыто. При этом, однако, на выбор между прямоотой и лукавством провоцирует Гринева Пугачев. И это очень напоминает такую ситуацию испытания, когда сказочному герою приходится перед царем «ответ держать», и от того, каким этот ответ будет, – правильным или неправильным (здесь важно не только то, что испытуемый говорит, но и то, как он ведет себя, когда говорит то, что говорит) – зависит последнее царское решение – казнить или миловать.

Отвечая прямо, твердо, правдиво, Гринева с честью выдерживает испытание и заслуживает милости: «Моя искренность поразила Пугачева. “Так и быть – сказал он, ударя меня по плечу. – “Казнить так **казнить**, **миловать** так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь...”»<sup>30</sup>. В итоге такого «соперничества» и тот, и другой оказываются победителями: Гринева заслуживает царской милости, а Пугачев – права миловать по-царски.

Возможно, в этой ситуации есть еще одно измерение, и связано оно с гриневской склонностью к стихотворству. С его учетом Гринева предстает перед Пугачевым не просто как дворянин, но еще и как поэт, которому (для того чтобы соответствовать присвоенному ему просветительской эпохой статусу<sup>31</sup>) следует говорить с царями прямо и открыто. Эта позиция манифестируется Пушкиным в стихотворении «Друзьям», с прямой, как считается<sup>32</sup>, отсылкой к державинским строкам из двух посланий к Храповицкому («Богов певец / Не будет никогда подлец»<sup>33</sup>, «Раб и похвалить не может, / Он лишь

только может льстить»<sup>34</sup>), косвенной – к Жуковскому («О дивный век, когда певец царя – не льстец, / Когда хвала – восторг, глас лиры – глас народа»<sup>35</sup>), а через Державина и Жуковского – к ломоносовскому переложению 14 псалма («Господи, кто обитает / В светлом доме выше звезд? / Кто с тобою населяет / Верьх священный горних мест? / Тот, кто ходит непорочно, / **Правду всегда хранит / И нелестным сердцем точно, / Как языком говорит.** / Кто устами льстить не знает...»<sup>36</sup>).

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя назовет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,  
Глуши природы голос нежный,  
Он скажет: просвещения плод -  
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу<sup>37</sup>.

В момент испытания Пугачев, самозванный царь, обретает подлинное царское достоинство, а Гринев, «самозванный», доморощенный поэт, – достоинство настоящего поэта. Правда поэта, высказанная *нелестным сердцем*, подвигает царя на то, чтобы между двумя державными правами выбрать не казнь, а милость.

\*\*\*

По словам М.М. Щербатова – автора труда «О повреждении нравов в России» (1858), Петр, считая одними из главных человеческих пороков «лесть» и «самость», всеми силами старался их искоренить. И, напротив, своим «люблением истины» поддерживал искренность и простодушие даже в тех ситуациях, когда они были, казалось бы, совершенно неуместны. В подтверждение этого Щербатов вспоминает о реакции Петра, последовавшей на неуместное простодушие морского поручика: «“На кого ты нас оставишь”. Ответствовал государь: “У меня есть наследник”, – разумея царевича Алексея Петровича. На сие Мешуков спиана и неосторожно сказал: “Ох! вить он глуп, все расстроит”. При государе сказать так о наследнике, и сие не тайно, но пред множеством председателей! Что сделал государь? Почувствовал он вдруг **дерзость, грубость и истину** и довольствовался, усмехнувшись, ударить его в голову с приложением: “Дурак, сего в беседе не говорят”»<sup>38</sup>.

Как Просветительская эпоха с ее апологией естественности и естественного сопрягает истину с простотой, ясностью и открытостью, так и Петр прощает простодушного Мешукова, у которого мысль и речь пребывают в естественном сопряжении. Мешуковы царю не опасны – царю опасен иной род людей, о котором в другое время и предупреждает Н.М. Карамзин Александра I в связи с его восшествием на престол:

Есть род людей, царю опасный:  
Их речи как индийский мед,  
Улыбки милы и прекрасны;  
По виду – их добрее нет;  
Они всегда хвалить готовы;  
Всегда хвалы их **тонки**, новы:  
Им имя – хитрые льстецы;  
Снаружи ангелам подобны,



Но в сердце ядовиты, злобны  
И в кознях адских мудрецы.  
Они отечества не знают;  
Они не любят и царей,  
Но быть любимцами желают;  
Корысть их бог: лишь служат ей.  
Им доступ к трону заградится...<sup>39</sup>

*Тонкость*, которой обладают «хитрые льстецы», противопоставляется грубоватой прямоте как спутница лжи, а не истины. В прямоте и простоте, а не в тонкости, по выражению Державина, «уста согласуются с сердцем»<sup>40</sup>. А вот между умом и тонкостью подобной взаимодополнительности, во всяком случае для Пушкина, не наблюдается: «Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что **тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным**, и с великим характером, всегда откровенным»<sup>41</sup>. В прозаическом отрывке «Мы проводили вечер на даче» Пушкин коснется этой темы более развернутым образом. Гений не может быть двуязычен: когда он о чем-то говорит, то в этом говорении речь, мысль и предмет пребывают в абсолютном и прямом согласии<sup>42</sup>.

*Прямота* – одна из излюбленных Пушкиным характеристик в отношении и тех реальных лиц, и тех персонажей, к которым он относится с неприкрытой симпатией: «Нет, добрый Галич мой! / Поклону ты не сроден. / **Друг мудрости прямой / Правдив и благороден**»<sup>43</sup>; «Жил на свете рыцарь бедный, / Молчаливый и простой, / С виду сумрачный и бледный, / **Духом смелый и прямой**»<sup>44</sup>; «Я знаю: **в вашем сердце есть / И гордость, и прямая честь**»<sup>45</sup>; «Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, ко-

гда он за столом у Кирила Петровича **прямо высказывал свое мнение**, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина»<sup>46</sup>.

*Прямота* – и верный знак истинности дружеских отношений: «Он гость без этикета, / **Не требует приветов / Лукавой суеты;** / Прими ж его лобзанья / И чистые желанья / **Сердечной простоты!**»<sup>47</sup>. Она и знак особого отличия того, к кому она обращена. Только действительно истинное требует прямого к себе обращения – любая иная форма была бы для него унижительна. «Покажи это Грибоедову. Может быть я в ином ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере **говорю прямо, без обиняков**, как истинному таланту»<sup>48</sup>.

В этой связи следует указать еще на одно важное для Пушкина обстоятельство. Высказываемое не может претендовать на статус истинного, если оно не сопрягается с благоволением, а благоволение, в свою очередь, не подпитывается любовью. Со всей отчетливостью этот ряд выстраивается в размышлениях Пушкина 1836 г. о Радищеве и его книге (а это время и «Капитанской дочки»), которая, с его точки зрения, не принесла много пользы потому, что была проникнута «брачливыми и напыщенными выражениями» с «примесью пошлого и преступного пустословия». Ее «несколько благоразумных мыслей... «принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо **нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви**»<sup>49</sup>.

\*\*\*

Только проникнутое любовью слово оказывается истинно способным донести истину. Ясно, что любовь в этом случае осмысливается не в фетовском смысле: она не состояние, а действие. Идея триединства истины, слова и действия своеобразно наложилась на обыгрываемый в «<Мы проводили ве-

чер на даче>» «древний анекдот» о Клеопатре. В «дачной» интерпретации египетская царица предстала изобретательницей такого способа проверки, который позволяет судить об истинности или ложности высказывания с абсолютной степенью достоверности: «Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того что твердят ей поминутно – что любовь ее была бы дороже им жизни»<sup>50</sup>. Для того, чтобы доказать истинность слов, соискателям любви царицы должно принести в жертву свою собственную жизнь. Истинность должна быть подтверждена жертвенным действием.

Как правило, жертва у Пушкина совершается во имя того, что должно, во имя безусловных и надличностных принципов долга и чести, которые – в отличие от стихийных порывов чувств – ни при каких условиях не могут допускать двусмысленности. В конфликте между истинностью спонтанно выраженного чувства и истиной-долгом пушкинские герои неизменно следуют старой классицистической норме – они встают на сторону долга, который у Пушкина осмысливается как такой незыблемый порядок вещей, на котором мир держится.

Защищая свою честь, Дубровский-отец поплатился и именем, и жизнью. Дочь Троекурова Маша прямо и твердо отказывает Дубровскому-сыну и тем самым обрекает себя на жизнь с нелюбимым человеком во имя долга и чести. (И в этом она оказывается наследницей Дубровского-отца, его дочерью, а не знающий рамок и границ Дубровский-сын – наследником Троекурова.) Татьяна отказывает Онегину в его «беззаконной» страсти, узаконивая тем самым свой отказ от счастья во имя долга, но и учреждая любовь в ее истинном статусе.

В «Капитанской дочке» Пушкин еще раз возвращается к «ударной» в «Евгении Онегине» ситуации отказа. Нетрудно заметить, что отказ Татьяны

Онегину и отказ Гринева Пугачеву представляют собой в функциональном аспекте два параллельных места. Вот одно: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна»<sup>51</sup>, а вот другое: «Ты человек смышленный: ты сам **увидел бы, что я лукавствую...** – Нет, – **отвечал я с твердостью.** – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу...»<sup>52</sup>. И Татьяна, и Гринев по долгу отданы другим, а по чувству одна принадлежит Онегину, а другой – Пугачеву. Гринев родственен Пугачеву, олицетворенной стихии, именно своими стихийными порывами<sup>53</sup>. Со стороны чувства он – сын Пугачева, а со стороны долга – вассал Екатерины и ее царства, где царят не порывы («казнить так казнить, миловать так миловать»), а норма и правосудие.

Истинность стихийного чувства и стихийности в целом («казнить так казнить, миловать так миловать») в этом случае оказывается едва ли не выше и не истиннее долга (которому в «Капитанской дочке» придается очевидный бюрократический оттенок), но опять-таки именно потому, что Пугачев удостоверяет эту истинность прямым образом – ценой собственной жизни<sup>54</sup>.

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (Рособразования) в рамках исследовательского проекта 2.1.3 / 4705 «Универсалии русской литературы (XVIII – начало XX вв.)».

---

<sup>1</sup> Языковский архив. Вып. 1. СПб., 1913. С. 54.

<sup>2</sup> Денисов Д.В. Стихотворения. Проза. М., 1987. С. 84.

<sup>3</sup> Языковский архив. С. 56.

<sup>4</sup> Там же. С. 30.

<sup>5</sup> Языков Н.М. Сочинения. Л., 1982. С. 75.

<sup>6</sup> Языковский архив. С. 124.

---

<sup>7</sup> Языков Н.М. Указ. соч. С. 75.

<sup>8</sup> Языковский архив. С. 59.

<sup>9</sup> Языков Н.М. Указ. соч. С. 63.

<sup>10</sup> Языковский архив. С. 32.

<sup>11</sup> Там же. С. 77.

<sup>12</sup> Языковский архив. С. 164.

<sup>13</sup> Там же. С. 167.

<sup>14</sup> Там же. С. 114.

<sup>15</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 19 т. М., 1994–1997. Т. 3. С. 103.

<sup>16</sup> Языковский архив. С. 201.

<sup>17</sup> Там же. С. 183.

<sup>18</sup> Там же. С. 223.

<sup>19</sup> Языковский архив. С. 119.

<sup>20</sup> Там же. С. 116.

<sup>21</sup> Там же. С. 176.

<sup>22</sup> Языковский архив. С. 222.

<sup>23</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 332–333.

<sup>24</sup> Сумароков А.П. Драматические сочинения. Л., 1990. С. 257.

<sup>25</sup> Там же. С. 258.

<sup>26</sup> В другом месте пользу молчания Сумароков обосновывал так: «Коль истиной не можно отвечать, / Всего полезнее молчать (Притча «Пир у льва»); «А ежели нельзя сказати правды явно, / По нужде и молчать, хоть тяжко, – не бесславно» (Сатира «О честности»). (Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 214, 195.)

<sup>27</sup> Сумароков А.П. Указ. соч. С. 272.

<sup>28</sup> Породе достоинство противопоставляется и в трагедии Сумарокова. Так, в ответ на реплику лукавого князя Шуйского о том, что «Димитрия на трон взвела его порода», следует возражение мудрого и бескорыстного Пармена: «Когда владети нет достоинства его, / Во случае таком порода ничего. / Пускай Отрепьев он, но и среди обмана, / Коль он достойный царь, достоин царска сана». (Сумароков А.П. Драматические сочинения. Л., 1990. С. 266.)

<sup>29</sup> Цветаева М.И. Мой Пушкин. М., 1981. С. 179.

<sup>30</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 333.

<sup>31</sup> Говорить царям истину – одно из положений в руководстве для поэтов Буало: «Великий государь, я не умею льстить: / Я карлу никогда не назову Титаном, / А труса – воином, отважным в деле бранном, / Вельможам я перо на откуп не отдам, / Земным богам курить не буду фимиам. / И даже пред тобой не стану я лукавить, / **Скрывая мысль свою**, чтобы тебя восславить; / Безмерна власть твоя, но сколь ты не велик, / **Лишь сердце говорить заставит мой язык**, / Ни милость, ни расчет, ни сила убежденья / Не вырвут у меня вовек стихотворенья». (Цит. по: Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М., 2002. С. 169).

<sup>32</sup> См. об этом: *Осват К.* Об «одическом диптихе»: «Стансы» и «Друзьям» (материалы к интертекстуальному комментарию) // Пушкинская конференция в Стенфорде 1999: материалы и исследования. М., 2001. С. 133–142.

<sup>33</sup> Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 2002. С. 223.

<sup>34</sup> Там же. С. 291.

<sup>35</sup> Жуковский В.А. Собр. соч.: в 4 т. 1959. Т. 1. С. 210.

---

<sup>36</sup> Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л., 1986. С. 186.

<sup>37</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 89.

<sup>38</sup> Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // Кн. Щербатов и А. Радищев. Лондон, 1858. С. 27.

<sup>39</sup> Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 263–264.

<sup>40</sup> Ср. державинское прояснение своей позиции в связи с написанием оды «Фелица»: «Я не могу богам, не имеющим добродетели, приносить жертвы и никогда и для твоей хвалы не скрою моих мыслей: и сколь твоя власть ни велика, но если бы в сем **мое сердце не согласовалось с моими устами**, то б никакое награждение и никакие причины не вырвали б у меня ни слова к твоей похвале» (*Державин Г.Р.* Сочинения: в 4 т. СПб., 1864. Т. 1. С. 151.)

<sup>41</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 11. С. 55–56.

<sup>42</sup> «Мы проводили вечер на даче у княгини Д. Разговор коснулся как-то до M-de de Staël. Барон Д\*\* на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту – Кого почитает он первую женщиною в свете? – и забавный его ответ: Ту, которая народила более детей. Celle qui a fait le plus d'enfants. – Какая славная эпиграмма! заметил один из гостей. – И поделом ей! сказала одна дама. Как можно так неловко напрашиваться на комплименты? – А мне так кажется, сказал Сорохтин, дремавший в Рамсовых креслах, мне так кажется, что ни M-de de Staël не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала <вопрос> из единого любопытства, очень понятного; а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию Гениев» (8, 420).

<sup>43</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 102.

<sup>44</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3. С. 161.

<sup>45</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 188.

<sup>46</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 162.

<sup>47</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 90.

<sup>48</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 13. С. 139.

<sup>49</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 12. С. 36.

<sup>50</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 424.

<sup>51</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 188.

<sup>52</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 8. С. 332.

<sup>53</sup> Ср. рассуждение А.И. Иваницкого о стоящей перед Гриневым ситуации выбора между нормой и волей, между «хочу» и «надо».

<sup>54</sup> Этим он отличается, скажем, от «бюрократичного» Сальери, идущего к истине обходным, лукавым путем: он приносит в жертву долгу-истине не собственную персону, а «стихийного» Моцарта. Об этом подробнее и в несколько ином ракурсе см.: *Фаустов А.А.* Творческое поведение Пушкина. Воронеж, 2000. С. 126 и сл.